

НАША СТРАНА

Год изданий 37-ой, Буэнос Айрес, суббота 9 февраля 1985

"NUESTRO PAIS"

Buenos Aires, sábado 9 de febrero de 1985 No. 1802

МЫСЛИ ВСЛУХ

AD-SOLEMNITATEM

В римском праве существует выражение ad-solemnitatem, обозначающее необходимость известных формальностей, предписанных законом, для того чтобы соответствующий юридический акт был действительным. Без этих торжественных формальностей, некоторые акты не действительны и считаются не состоявшимися, даже если они в действительности и вступились. Исходя из такой установки, с некоторой натяжкой можно прийти и к обратному утверждению: даже не состоявшиеся акты могут быть провозглашены состоявшимися, если будет исполнен ритуал, долженствующий их облекать.

Необходимость таких торжественных формальностей приписывалась не только римскими гражданскими законами (откуда эти предписания и перешли в законодательства современных государств), но и политическим нормам, как, например, при созыве и проведении выборов на государственные должности. При этом необходимо иметь в виду, что эти торжественные формальности выражались не только в виде определенных актов и словесных формул, но и были связаны с определенными физическими местами. Так как в общем все политические акты в Риме имели одновременно и религиозный характер, а большинство священнодействий было связано с освященными местами, то и многие политические акты могли состояться только в определенных местах. Кроме того, для законного вступления на многие важнейшие государственные должности требовалось назначения предыдущим магистратом, так как выборы сами по себе не давали необходимой легитимности, что, в свою очередь, требовало физического контакта в определенном физическом месте.

Из всего этого потом и развилась до сих пор существующая в современном западном мире практика юридических фиктивностей, необходимых для некоторых юридических или политических актов. Например, история выборов в английский парламент знает такие случаи в прошлом, когда несколько человек собиралось на месте какого-нибудь определенного болота в определенный день, и между собой выбирали депутата в парламент. Только лишь потому, что за этим местом формально числилось, с давних времен, право на одно место в парламенте. В свою очередь, А. Хомяков считает, что "суеверное почитание... к месту или точнее к имени Рима" привело к "преимуществу... епископов императорского города" перед епископами Антиохийскими, которые были точно такими же преемниками св. Петра. Да и сама формула папской непогрешимости ex cathedra говорит о ее обусловленности известной торжественностью в известном месте.

И. А.

«Я умру на Родине»

ИНТЕРВЬЮ А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА С ДАНИЭЛЕМ РОНДО ДЛЯ ГАЗЕТЫ "ЛИБЕРАСЬОН"

— Как объяснить весь ход "Красного Колеса"? Каковы прошлое и будущее Вашей эпопеи?

— Это развернутое повествование о революции в России, которое захватывает сотни действительных исторических лиц, от высокопоставленных, на виду у истории, до совершенно никому не известных, но давших мне свидетельские показания. Оно захватывает десятки мест в России, захватывает многие годы. Такую грандиозную вещь невозможно написать "в лоб" — это был бы бесчисленный ряд томов. Уже давно, лет пятнадцать тому назад, я пришел к выводу, что надо писать эту эпопею методом узлов. В математике есть такое понятие узловых точек: для того чтобы вычерчивать кривую, не надо обязательно все точки ее находить, надо найти только особые точки изломов, поворотов и повторов, где кривая сама себя снова пересекает, — вот это и есть узловые точки. И когда эти точки поставлены, то вид кривой уже ясен. И вот я сосредоточился на узлах, на коротких промежутках, никогда не больше трех недель, иногда — две недели, десять дней. Вот "Август", например, — это одиннадцать дней всего. А в промежутке между узлами я ничего не даю. Я получаю только точки, которые в восприятии читателя соединятся потом в кривую. "Август Четырнадцатого" — как раз такая первая точка, первый узел.

— До какого года доходит эта эпопея?

— Должна бы она дойти до 1922 года, когда все последствия революции уже закованы в железные колен, когда социальная динамика кончилась и начинается уже качение по этим жестоким рельсам. Но боюсь, что мне жизни не хватит довести до конца. Дело в том, что я всю жизнь должен был отвлекаться на другие работы. Мой собственный жизненный опыт, особенно тюрьма и лагерь, уводили меня, во первых, на эпопею о ГУЛАГЕ, во вторых, на собственные, но немаловажные жизненные события, как умирание от рака, которое меня постигло... — и я писал "Раковый корпус". Пребывание на шарашке дало "Круг первый". Потом положение совершенно скрытого писателя не давало мне возможности вести и внешне жизнь писателя, я должен был делать что-то другое, я преподавал математику, физику. Если сюда добавить еще все приемы вынужденной конспирации... Все это съело у меня огромное количество времени, мешало мне прорваться. "Красное Колесо" я начал в 1936 году, но долгое время можно было только обдумывать, читать случайные книги, и лишь с 1969 года я мог полностью отдаться этой работе. Вот я работаю четыр-

надцать лет. И годы идут. Мне уже нужно было бы быть в середине пути хотя бы, а я еще далеко не дошел. Поэтому я думаю, что эпопею всю не окончу, но по крайней мере хочу как можно дальше продвинуться, чтобы выяснить ход... То, что я сейчас реально уже кончил, это так называемое "Действие первое. Революция". В него входит три узла: "Август Четырнадцатого", "Октябрь Шестнадцатого" и "Март Семнадцатого". Это я почти кончил. Вот здесь вокруг нас разложены заготовки "Апреля". Это четвертый узел. Надо сказать, что Семнадцатый год в России необыкновенно динамичен, каждый месяц — это новая эпоха, буквально, даже от марта к апрелю вся ситуация меняется. И так приходится только в промежутке между Февралем и Октябрем дать четыре узла. Собственно — все то, что победило в февральской революции, прожило восемь месяцев и само упало, и уже отозрело, кончило свою жизнь.

— В "Теленке" Вы говорите, что уже очень давно, 30 лет, носили в себе этот замысел. Как же это может быть, что 18-летний человек загорается таким грандиозным замыслом и никогда не покидает желания его реализовать?

— Я родился под сенью революции, в Восемнадцатом году, и детство мое было полно воспоминаниями и разговорами взрослых, для которых революция была — ну только-только, вот сейчас кончилась, 5-6 лет прошло. Эта была сень надо мною — революция. Не мудрено, что этой революцией я должен был заняться. А как именно произошло? В 9 лет я, понятия не имея почему, решил, что буду писателем. В 10 лет я прочел "Войну и мир" Толстого. Книга меня совершенно потрясла, именно вот этот формат исторический, понимаете? И уже тогда я читал захватывающие воспоминания о революции, совсем не большевицкого толка, вдруг неожиданно были напечатаны в СССР. Оставалось соединиться этим двум частям — и был бы замысел раньше 18-ти лет. Но я еще был слишком мал. А в 18 лет я точно помню день и обстоятельства, когда вдруг мною овладел этот замысел. Это пришло буквально вот в какие-то пять минут. Я знаю точно место и точно время, когда это произошло.

— Можете ли Вы немного об этом рассказать?

— Могу и рассказать. Это было 18 ноября 1936 года. Тогда в Советском Союзе не было воскресений, а был свободный день каждое число, которое на шесть делится. Это был свободный от учения день, и стояла погода приблизительно такая вот, может быть чуть-чуть теплее, вот

такая солнечная, с низким солнцем. Я пошел один, в каком-то смутном состоянии, какое-то тяготение во мне, пошел по ростовскому Пушкинскому бульвару, и в одном месте этого бульвара, под уже оголенными ветвями, вдруг как будто меня прямо настигло: надо такой роман написать. Я кончил уже к этому времени советскую школу, это было в первые месяцы студенчества на физмате, и я тогда считал, обработанный советской пропагандой, что главное — октябрьская революция. Но, конечно, нельзя начинать прямо с нее, надо как-то отступить, начать раньше. Я понимал, что нужно будет описать Семнадцатый год, понимал, что нужно будет описать и Четырнадцатый год, потому что без Первой мировой войны нельзя никак объяснить нашу революцию, она бы не произошла. Но тогда я еще это все понимал как прелюдии, отступление для прелюдий. Вот тогда же я и решил, что мне надо начинать с Первой мировой войны, — мне сама война, я думал, не была нужна, а только что-то из нее показать перед революцией. Ну, я засел за книжки по Первой мировой войне. Обратил внимание сразу на Самсоновскую катастрофу. Самсоновская катастрофа поразительна во многих отношениях, типична, характерна, как бы репрезентативна для этой войны. Я решил так: описывать всю войну, конечно, не буду, а только одну битву, но эту битву буду описывать очень подробно. И занялся детальной разработкой Самсоновской катастрофы. Поразительное дело, я конечно тогда не представлял, изучая карты военные, что мне самому придется повторить весь путь армии Самсонова. Во время Второй войны я точно по этим местам прошел. Точно в эти места попал. И так, я начал писать в 1937, и так как у меня довольно острое чувство композиции, то надо сказать, что композиционно я многое решил из Самсоновской катастрофы уже тогда, то есть как последовательно идут главы, и из чего состоят. И хотя текст, фактуру, конечно, я переписал всю заново теперь, но построение глав, почти десятка военных глав, взято прежде, из 37-го года. Ну а потом, после студенчества, я пошел на войну, потом в тюрьму, и много десятилетий не мог работать, а мог только думать, расспрашивать, с кем сидел в тюрьме, об этих временах, иногда читать редкие книги, но я не мог вести конспектов в заключении, я сразу бы был схвачен. Так что держал все это в голове. Ну а потом я занялся лагерной темой, и так только в 1969 пробился к своему главному замыслу. А вот недавно, всего-навсего лет 6-7 назад, я вдруг понял, что мои отступления для прелюдий оказались недостаточными, потому

что и с войны еще нельзя начинать, надо начать раньше, надо начать с истории революционного движения и особенно революционного террора в России. И так, я должен был в уже написанный "Август" вставить еще один том, ретроспекцию на террор и то, что произошло задолго до войны. Но когда я это сделал, я обнаружил для себя необыкновенную актуальность "Августа", актуальность для сегодняшнего Запада, а не только для России. Для нашей страны эта история, для нашей страны надо это знать, чтобы понять, как у нас все получилось, и о будущем думать, а для Запада в "Августе" есть одна уже прямая актуальность — течение революционного террора. Я конечно не мог подробно писать историю террора, я проследил только по "женской линии". Чтобы из большой массы выделить сколько-нибудь. Но даже по этой женской линии можно увидеть черты совершенно сегодняшнего террора на Западе. А дальше, это уже относится не к "Августу", а к уже относится не к "Августу", а к "Марту Семнадцатого" и позже, — удивительно актуальна для Запада и дальше. Должен сказать, что этот наш путь, от февральской революции до октябрьской, восемь месяцев, это как бы сжатый конспект, который потом Европа будет прокручивать несколько десятилетий. Каким-то образом нам было послано вот так, в восемь месяцев это сжать. Вообще, конечно, история Запада тоже сломалась в Четырнадцатом году. Я испытываю к Первой мировой войне чувство современника. Вот такая судьба: я воевал на этой войне, на Второй мировой, но из-за моей работы я больше обращен к Первой войне. И я невольно, изучая материалы, почувствовал и всю Европу в то время, почувствовал, как Европа погубила сама себя — войною, вступивши в войну.

— А до войны — не искала ли она своей гибели?

— Совершенно правильный вопрос. Я скажу так. Весь 19-ый век, считал его — есть такой счет 19-го века: от Французской революции до Первой мировой войны, — весь 19-ый век Европа шла к этому. Шла к этому утрате высших мерок жизни и, так сказать, отдавая благам и материальному процветанию. Да, она подготавливала весь 19-ый век эту войну. А так как всегда внутреннее развитие опережает внешнее, то в начале 20-го века Европа, будучи на вершине материального могущества и процветания, уже катилась в бездну, которая ее ждала, внутренне. И внутренне все руководители Европы в Четырнадцатом году оказались не на уровне своем, все не понимали того, что за эпоха наступила и как надо себя вести. Мне безумно жалко Европу, что она влезла в этот Четырнадцатый год. Хотя у нас это сразу сказало революцией, моментально. А Европа с тех пор все время медленно сползает, вот уже семьдесят лет... И внешний технический прогресс ничего не изменяет в этом отношении.

— Если цивилизации вообще смертны, думаете ли Вы, что Европа уже мертва? Все кончено?

— Нет, я в этом не уверен. Жизнь устроена так, что все в наших руках. Я только хочу сказать: сегодняшнее внешнее течение, которое можно наблюдать, идет вниз. Сегодня Запад идет действительно к падению, к сдаче. Но это совсем не значит, что погибла вообще цивилизация, не частная цивилизация, а цивилизация в широком смысле. Я несколько не смотрю пессимистически. Нельзя придумать уж ниже положения, чем сегодня мой народ испытывает, на са-

мом дне, и то я считаю, что у нас есть выход. Наша революция была частным проявлением мирового процесса, также как и французская революция. Французская революция конца 18-го века была первый сигнал человечеству. Русская революция 20-го века — второй сигнал. А сейчас мы идем к решению этих конфликтов. Под коммунизмом погибли миллионы людей, скажем, моя страна потеряла треть своего населения, причем не просто статистическую треть, а лучшую треть, избранную треть, все, что выделялось, что было выше. Но тем не менее мы проходим через эти испытания чем-то обогащенные. Именно потому, что внутреннее развитие обгоняет внешнее, я считаю, что народы под коммунизмом сейчас уже начали внутреннее восхождение, а народы, которые не испытали коммунизма, продолжают сползать вниз. Но это не значит, что они погибнут, они, может быть, пройдут этот путь и тоже пойдут вверх. Очевидно, мы должны были, вследствие духовных потерь 18-го и 19-го века, пройти через ад 20-го века. Может быть, судьба каждой страны нырнуть в это, а потом вынырнуть. Я думаю, что испытания 20-го века — есть путь к новым духовным находкам: пересмотреть жизненные ценности.

— А Россия принадлежит Европе или, как считал Достоевский, она повернута к Азии?

— Я думаю, что у нас двойственная роль, двойственное место — всегда было и всегда будет. Собственно говоря, мы — материк, и как материк имеем право на свое собственное развитие. Но мы касаемся и восточного образа жизни и западного, естественно, что мы их как-то усвоили и в ходе нашей истории, и в системе наших представлений, так что всегда будет взаимодействие этих элементов у нас. Не правильно относить нас ни к Западу, ни к Востоку.

— Когда Вы говорите о том, как народы под коммунистическим игмом начинают вновь подниматься из глубины падения, что Вы имеете в виду? Думаете ли Вы о таких явлениях, как "Солидарность" в Польше?

— Прежде всего я говорю о перестройке духовных ценностей. Западным молодым людям очаровательным кажется идеал социализма. А мы не только отворачивались от нашего коммунистического тоталитаризма, мы изжили и материальные мечты социализма. Вообще тот элемент обязательного государственного насилия, который содержится во всяком социализме, нам уже отвратителен. Мы очистились от этого, и снова перед нами засияли христианские ценности. Эти изменения гораздо более глубокие, чем внешние политические события. И то, что происходит в Польше, следует понимать именно с этой глубокой точки зрения. Не то важно, что "Солидарность" вот создавалась, а ее разогнали, а то важно, что собирается одноструйное движение народа против коммунизма, основанное на христианстве. "Солидарность" — одно из первых внешних проявлений того внутреннего изменения, которое накапливается в коммунистических странах, и оно будет прорываться в разных странах в разное время.

— Существенна ли для Вас разница между православием и католичеством, является ли эта разница как бы границей, которая разделяет Европу?

— Нет... Одна из великих трагедий человечества, еще раньше той трагедии 18-го века, о которой мы сейчас говорили, — это разделение христианства. Мы, человечество, оказались неспособны донести единое христианство, и это привело к из-

вестным всем событиям религиозных войн и расколов. И даже еще писатели 19-го века, как Достоевский, придавали повышенное значение этим расхождениям, Достоевский был очень настроен по отношению к католицизму. Для меня эти дела устарели, я считаю, что сейчас не только все христиане, но все верующие на земле противостоят воинствующему атеизму. Поэтому вот с линией Папы римского, с линией Валенсы у нас противоречий никаких. Конечно, соединение церквей теперь очень трудно, но по крайней мере какой-то союз должен быть.

— Что означало в Вашей жизни решение стать писателем? В "Теленке" упомянуто вскользь, что с момента, как человек решает стать писателем, его судьба становится совершенно особой. У Вас есть определенный исторический замысел. А есть ли у Вас замысел моральный?

— Там где я это говорю в "Теленке", я имею в виду совершенно служебную сторону жизни: стать писателем в советских условиях значит прежде всего начать прятать, стать конспиратором, подпольщиком. А что касается связи литературно-художественной стороны и моральной, то она настолько традиционна для прежней русской литературы, что я здесь никакого нового соединения не представляю. Вот наша новейшая литература, самая новейшая и не подсоветская, она разорвала эту связь. А я вообще в смысле проведения художественной линии считаю себя традиционалистом. И поэтому для меня никогда эти две стороны не раздвигались.

— Структура и форма "Августа 14" представляются довольно классическими. Сохранятся ли они до конца во всех узлах или будут меняться? Я хотел бы знать, что Вы думаете о литературном авангардизме 20-го столетия? За последние шесть месяцев мне пришлось разговаривать с писателями, которых я высоко ценю, такими как Милан Кундера, Чеслав Милош, Антони Бердесс. Все они считают и говорят, что роль авангардизма была весьма отрицательной. Все они осмеливаются прямо это говорить. По их мнению авангардизм нанес большой вред литературе; а вот писательница Симон Вейль считала, что, например, сюрреализм в какой-то степени содействовал возникновению терроризма. По ее мнению, во всех этих движениях — в авангардизме, в сюрреализме и пр. — присутствует отцеубийство.

— Когда я говорю, что я традиционалист в литературе, я хочу выразить только, что я верен, так сказать, общему смыслу творчества, пониманию его места и роли. Это никак не относится к формам, жанрам. Я позволю себе с Вами не согласиться, что в "Августе" традиционные формы. Дело в том, что никогда нельзя ставить себе задачи: стану-ка я в авангард и буду авангардистом, придумаю-ка я что-нибудь такое, чего еще никто не придумал. Я не ставил себе никогда задачи придумать что-нибудь новое, чего нет ни у кого. Но от 19-го века изменился темп нашей жизни, значит и темп чтения, темп восприятия, темп мысли, поэтому невозможно писать так разреженно, как в 19-ом веке. И я вынужден был в своей эпоху применить до восьми разнообразных жанров, но ни одного из них я не придумывал для того, чтобы поразить новизной. Я только каждый раз ищу, каким инструментом наиболее ярко и наиболее плотно передать. Каждый раз я ищу, каким способом вот этот кусок жизни лучше всего выразить. И мне, честно говоря, слово "авангардизм", которое я услышал еще в юности, всегда каза-

лось бессмыслицей, просто бессмыслицей: нельзя "быть авангардистом"! нужно иметь что-то более основательное в сердце и в душе. Если человек ничто иное как авангардист, он вообще ничто. Изобретение новых, каких-нибудь поражающих форм; если они не предваряют духовного открытия, — да, они в лучшем случае пустая забава, а в худшем — они ускоряют разрушение. Разрушение умственности и нравственности Запада.

— Это как раз то, что я думаю, но мало людей, думающих так. И совсем новое явление, что писатели смеют это говорить на Западе. А ведь история 20-го века искривлена из-за этих поисков.

— Безусловно. Не так история, как нравственность и интеллектуальность. Не прямо история, не то что от этого Татчер или Миттеран принимают другие решения, не так, — но разрушается структура, та высокая структура, которая была в Европе. Надо сказать, что Европа выходила из Средневековья с высочайшей духовной структурой. И вот эта структура в течение столетий разрушается по разным причинам, заменяется интеллектуальной акробатикой. И эту духовную структуру Запада разрушает и авангардизм.

— Могли бы Вы рассказать нам о методах Вашей работы? Как Вы достаете нужную Вам документацию, в какой мере используете архивы и библиотеки?

— Я должен сказать, что сейчас у меня самые превосходные условия для работы. Практически у меня есть 98 % тех материалов, которые мне нужны. А 2 % я получаю через библиотеки. В течение многих лет я собирал свидетельства стариков. У меня более трехсот личных показаний людей, которые теперь большей частью умерли. Я успел их собрать, частично в Советском Союзе, а больше всего за границей, это уникальная библиотека. Затем у меня много книг, вот эти вот растрепанные книги, я даже их не успел начать искать, мне стали эмигранты присылать со всех сторон. И когда я огляделся — так у меня почти все есть. Потом я имею из американских библиотек, из Гувера, набор газет того времени. О русских газетах 17-го года можно отдельно поговорить, так это интересно. Затем у меня много документов, напечатанных в Советском Союзе, касающихся Февраля. Начиная с Октября они уже скрывались, не печатались или искажались, а до Октября — очень обильны, и у меня все это есть. Моя работа упирается лишь в то, сколько мне времени отпущено.

Газеты Семнадцатого года — необычайно интересны. У меня до 15 разных газет, и ни одна не повторяет другую. Это был момент такого взрыва, когда все говорили и писали. Эти газеты живут. И вот: как эту жизнь выловить? Можно: брать из газет фрагменты самих событий. Можно: разрабатывать настроение и мысли, которые там поданы как публицистика, а я даю своим персонажам, иногда тому самому, который пишет статью, я могу перевести газетную статью в диалог, в разговор. Но иногда бывает неповторимо привести цитату из газеты так, как она есть. И из этого у меня рождаются газетные монтажи. Первую идею газетных монтажей я получил от Дос Пассоса, на Лубянке, в тюрьме, я впервые читал его книгу там. Мне очень понравилась эта идея. Но Дос Пассос и я используем ее прямо противоположно. Дос Пассос берет набор бессмысленной газетной болтовни как не имеющей отношения к жизни, а я использую газетный текст как реальные кирпичи, из которых завтра... се-

годня и завтра растут события. Ибо газеты Семнадцатого года были сигналом к действию, особенно у социалистического крыла. Потом в "Правде" это стало просто приказом к расстрелу. Поэтому мой монтаж имеет совсем другой смысл: сгущенного действия и предупреждения.

Документы приходится использовать двояко. У меня, среди других, есть форма прямого документа, но ее надо применять очень осторожно. Нельзя давать документ длиннее нескольких фраз, и нельзя давать много документов, — потому что большая часть их написана языком не плотным, избыточным, не ярким, с повторениями, это засущит читателя. Но когда я эти документы прорабатываю для себя, я восстанавливаю психологический рельеф человека, который его писал, и рельеф событий. Например, по февральской революции — гора документов. Я их использую в "Марте" в повествовательных главах, описывая, как этот документ рождался, я не выхожу за пределы документа, но даю психологическое обоснование: что могло толкнуть человека к такому решению, к таким фразам. И потом, с другой стороны: когда этот документ, телеграмма или письмо куда-то пришли — как они воспринимаются адресатом? что там будут?

Потом у меня есть форма обзорных глав. Хотя я и в обычных повествовательных главах стараюсь не удаляться от действительности, даже большая часть их — это совершенно точные события, но все-таки это главы, где я даю больше личного от персонажей. А некоторые периоды или некоторые линии надо проследить с большой исторической высотой, и тогда я пишу петитом обзорную главу. В первом томе "Августа" такие главы довольно простенькие, это маленькие обзоры военных действий, чтоб человек не потерялся. Но уже во втором томе приходится дать всю жизнь и деятельность Столыпина обзорной главой. В следующих томах мне приходится таким петитом давать историю некоторых партий и некоторые события, но тем самым я их, собственно говоря, не навязываю читателю. Я их выделяю так, чтобы более нетерпеливый читатель мог через них перескочить.

В работе над "Красным Колесом" я столкнулся с очень важным вопросом: какова должна быть пропорция исторических личностей, конкретно существовавших, не обязательно на вершинах, — и тех, что придуманы мною. Я бы считал пустой забавой дать большую пропорцию придуманных персонажей, как будто я с историческими событиями бы играл и нарочно подставлял туда персонажа, чтобы он там наблюдал. Нет, я главное внимание уделяю персонажам реально существовавшим, и я занят только истолкованием их психологии и поступков. Но тогда возникает обратный вопрос: может быть вообще выбросить вымышленных персонажей? — нет, нет, художественное произведение нуждается в них. Они — как бы смазка или соединительная ткань, и они дают маленькие оазисы совсем простой жизни, совсем простого воздуха, как-то даже забыть об истории. Вот например в "Марте Семнадцатого", в февральской революции, я бы грубо определил, что сочиненные персонажи сведены до минимума, до 10 %, по числу страниц. 10 % — это в "Марте". А вот, скажем, перед этим будет "Октябрь Шестнадцатого", который не содержит такого напряжения исторических событий, там вымышленных персонажей гораздо больше, больше личного.

От темпа исторических событий зависит, например, длина глав. В

"Августе" у меня довольно длинные главы, и даже есть очень длинные, как о царе Николае Втором. В "Октябре" они еще тоже длинные, потому что медленные события. В "Марте" начинается такая динамика, я стараюсь успеть за событиями... Изобразить революцию — это, между прочим, совершенно особая задача для литературы. Это не то, что изобразить войну или отдельные политические события. Революция имеет такой бешеный темп, столько сотен участников! Мне приходится главы стягивать до крошечного объема, но делать их много. Главы следуют с бешеной быстротой друг за другом, все в хронологической последовательности, не только дни за днями, а часы за часами, минуты за минутами. Я слежу, стараюсь давать главу так, чтобы если событие на пятнадцать минут раньше, так и ее дать раньше. Совершенно строго этого выдержать нельзя, потому что когда главы короткие и много их, тогда сильно работает стык, очень важно, что после чего идет, что с чем рядом стоит. Это сбивается. Я ничего не добавляю от себя, ничего не говорю при переходе от главы к главе. Но стык глав работает, понимаете? Или контраст, или продолжение.

Но и этого недостаточно. Динамизация требует не только маленьких глав, а время от времени вводить чисто фрагментные главы. Это так: вся глава состоит из коротких фрагментов. Это — фрагменты реальных событий, никакое отдельно не составило бы главы, но вместе они дают мелькание, и тоже у них свои соконования, они усиливают динамику еще.

Иногда нужно применить киноэкран для еще большей динамизации. Этот прием у меня есть в "Августе", но он бывает еще нужнее в момент революционный. Массовая сцена, матросы убивают адмирала, или солдаты штурмуют гостиницу — это написано так, чтоб можно было увидеть, как на экране, читая книгу, без съемки. Ну и потом еще есть несколько других жанров в узлах... И наконец, есть отдельно стоящие пословицы. Я не имею ввиду те, которые употребляют персонажи, а: отдельно стоящая пословица между главами. Обычно так можно понять: какой-то дед как бы слушает мой рассказ и вдруг дает реплику. Он предыдущую главу как-то комментирует, под каким-то новым углом, что дает еще новый объем восприятия.

И наконец, между узлами... я сказал, что между узлами ничего нет, но это пока не началась революция. А вот уже после "Марта" между узлами вставляется календарь революции. Это, может быть, одна страничка между узлами, где перечислен десяток событий. Я выбираю из множества событий того времени те, которые мне кажутся наиболее знаменательными, и огромное историческое событие, всем известное, может стоять рядом с маленьким, ничтожным, которого никто не знает. Но когда они выстраиваются в ряд, они дают тонкую соединительную веточку-ниточку между двумя узлами.

— Среди персонажей "Августа" есть офицер, отказывающийся ехать в поезде: он обязательно хочет ехать верхом, только так он может живо почувствовать народ, страну. Считаете ли Вы возможным продолжать писать российский эпос, не будучи в России?

— У нас такие чудовищные условия в Советском Союзе, что по настоящему мне сейчас тут легче писать, чем было бы там. Если мне нужно было совершить поездку куда-нибудь, например в Тамбовскую область или на Дон, то я должен был с

величайшими мерами конспирации ехать, и общаться с Россией я должен был так, что нигде почти ничего записывать нельзя. Всеобщая подозрительность. И держать рукопись книги я не рискнул бы в таком объеме — в одну минуту отнимут. Да видите, меня выслали все-таки в 56 лет, у меня жизненная встреча с Россией была достаточна для того, чтобы теперь до конца жизни писать здесь. И мои эти персонажи 300 человек, которые дали мне свидетельства, — это совершенно живое общение с современниками революционных событий. Когда я читаю их, то у меня ощущение, что не только я в Россию вернулся, а прямо в Семнадцатом году там кручусь.

— Считаете ли Вы, что только литература может подвести итоги эпохи, что она делает это лучше и точнее, чем, скажем, инженеры или вообще люди, изучающие конкретные факты?

— Нет, я не думаю так, но я думаю, что у литературы есть свои неповторимые возможности. Не только у литературы, а у искусства. Интуицию я считаю вообще более высоким способом познания, нежели прямое техническое изучение предмета. Только интуицию, ведомую жизненным опытом и большим духовным сосредоточением. Интуицию традиционный ученый даже не имеет права применить. Он должен интуицию прятать, потому что ему скажут: "Это еще откуда? Где доказательства?" Интуиция иногда может давать совершенно поразительные результаты. Вот Вы сейчас вспомнили, как поехал Воротынецов на лошади. А там дальше сразу он встретился с генералом Крымовым. Я когда писал о Крымове, еще в России, я имел только чуть-чуть о нем сведений исторических, самых общих. Я не знал о нем тогда ничего личного, ни наружности, ни привычек, однако решил его поставить в личной сцене, ну просто подал, как его чувствовал, в главе с Воротынецовым. Прошло много лет, и я здесь уже, на Западе, получил свидетельства людей, которые хорошо его знали. Так у меня стали волосы дыбом: то есть просто одну черту за другой я абсолютно точно угадал. Я судил по крупным внешним событиям и через них интуитивно нащупал свойства его характера, свойство шутить, как он именно отвечает, как он судит о людях, как он ворчит немного, — все оказалось абсолютно точным! И у меня несколько таких случаев, несколько, когда материал более поздний подтверждает мою интуицию. Но для этого интуиция должна быть очень сосредоточена, надо много думать о человеке, думать, стараться увидеть.

— Публикуя Ваши книги, Вы следовали почти военной стратегии, Вы действовали как стратег. И еще поражаешься, что большие романы в истории вышли из войны. Вы когда-нибудь думали о связи, которая существует между войной и литературой?

— О стратегии — ну да, я не случайно в "Теленке" это сформулировал. У меня там много раз военные сравнения, потому что действительно я себя против советской власти чувствовал как полководец. Это да, это есть.

Ну а война, поскольку война есть проявление сильных чувств в массовых масштабах, — конечно, она просится в литературу. Но революция есть еще большее проявление сильных чувств, в еще более массовых масштабах, и поэтому революция еще жарче просится в литературу, чем война. Но вообще в мировой литературе революции отображены, по-моему, непропорционально меньше, чем войны. Это более труд-

ная задача.

— Все Ваше время, очевидно, уходит на то, чтобы писать. Остается ли у Вас время для чтения? Читать романы, беллетристику?

— Вы знаете, большую часть жизни, середину жизни, не было времени. В детстве и юности я очень много читал. А в середине жизни был у меня лагерь, и потом конспиративная жизнь, я должен был преподавать математику в школе, сидеть проверять ученические тетради, читать свои материалы для романа, писать роман и прятать его, и вести вот ту борьбу с советской властью, которую я описывал. Поэтому у меня там был большой провал, от момента первого ареста и до изгнания из СССР я мало читал не относящегося к моей работе, разве в тюрьмах. Сейчас я начинаю выигрывать для чтения время, но все еще с трудом, очень много времени забирают эти материалы. Я каждый вечер не могу лечь спать, пока не подготовил материалы на завтрашнее утро. Однако, сейчас уже появился у меня просвет. Если мне суждено еще пожить, то очевидно этот просвет будет расширяться. У меня очень большая жажда уйти в литературное чтение, прочесть то, чего я не читал, но я всю жизнь как бы в марафоновском беге.

— Еще два маленьких вопроса. Во-первых, о борьбе между добром и злом. Может быть, это то же самое, что борьба между красотой и уродством? Если учесть, как уродливо то, что исходит из Советского Союза, то это представляется правдоподобным... Во-вторых: думаете ли Вы, надеетесь ли Вы, даже если эта надежда кажется безумной, что когда-нибудь Вы сможете жить как свободный человек и свободный писатель — среди русского народа?

— Да, я думаю, что красота и добро связаны органически, а зло использует красоту лишь для маскировки, иногда очень ловко. И это бывает в искусстве. Зло является в красивом виде. Но это всегда маскировка. На самом деле зло с красотой не имеет родства. А добро и красота, как они перечисляются, Истина, Добро, Красота, через запятые, они на самом деле родственны друг другу... А насчет моего возвращения... Конечно, никто не знает часа своей смерти, и мы не можем рассчитывать даже на год вперед никогда, ни один человек. Но если мне суждено какое-то время еще пожить, у меня — да, вопреки всяким логическим доводам, вопреки тому реальному ужасному положению в Советском Союзе и в мире, какое сегодня есть, у меня какая-то убежденность, что я еще вернусь туда, не только книги мои вернутся, а я живым туда вернусь. Почему-то мне кажется, что я умру у себя на родине.

И смех и грех...

Черненко собирается лечь на операцию для расширения грудной клетки: не хватает места для орденов на парадном кителе.

Американский корреспондент спрашивает Черненку:

— Скажите, какое ваше "хоби"?

— Я люблю собирать о себе анекдоты.

— Ну и много ли их вам удалось набрать?

— Пока не могу особенно похвастаться, но все же удалось укомплектовать два конклаге-ря и несколько психушек.

Зарубежная жизнь

ЛАГЕРЬ ОРЮР "ЗА РУСЬ"

Приехав поздно вечером в разведческий лагерь в курортном местечке на берегу моря "Мариндия", сорок километров на восток от столицы Уругвая Монтевидео, я скоро улёгся спать. Наутро меня разбудили звуки трубы. Я со сна сразу не понял в чем дело. Что это такое? Где я? Да ведь это кто-то играет на трубе русский военный сигнал подъема!

Действительно, с этого сигнала и начиналось расписание дня в лагере "За Русь". Организации Российских Юных Разведчиков (ОРЮР) в январе 1985 года в Уругвае. Вскоре меня ожидал следующий приятный сюрприз: после подъема, умывания и уборки, весь лагерь выстроился на центральной площадке, для церемонии поднятия флагов. Больше тридцати разведчиков и разведчиц, в форме, с русским национальным флагом на погоне и с двуглавым орлом на рукаве, выстроились перед тремя мачтами. По команде, по уставу Российской Императорской Армии, были подняты флаги (Уругвайский, Российский и Андреевский), а, затем, всем строем пропеты молитвы. Все точь в точь, как в нашей Старой славной Армии.

Я смотрел на этих наших детей и думал: да ведь это же уже четвертое поколение той эмиграции, которая приблизительно 65 лет тому назад покинула свою Родину, в знак принципиальной непримиримости по отношению к временно восторжествовавшей на ней чужеродной нам идеологии. Это уже четвертое поколение, которое получает от своих отцов и дедов не только все ту же непримиримость, но и все ту же любовь к нашему отечеству, к нашей Вере, к нашей культуре, к нашему языку. Трудна, ох как трудна эта передача, но все же она осуществляется до сих пор, но все же цепь еще не прервана. И не будет прервана до того момента, когда круг замкнется и все же кто-то из этих детей вернется в Россию. Большего и не нужно: чтобы кто-то вернулся в Россию (именно в Россию, и только в Россию).

Этим летом, в Южной Америке ОРЮР организовал два разведческих лагеря, по одной и той же идее и под одним и тем же названием: За Русь. Первый из них состоялся в Венесуэле, от 20 до 30 декабря 1984 года, и был организован дружиной "Москва". Второй был организован в Уругвае аргентинской дружиной "Град Китеж", от 8 до 22 января 1985 года.

Лагерь "За Русь" в Уругвае вели самостоятельно молодые руководители, а их помощниками были курсанты Курса начальников отрядов (КНО), под присмотром опытных старых руководителей. В этом курсе принимали участие четыре курсанта. Имена палаток, а также и все беседы у костров были посвящены начальной истории России. В лагере все говорят только по-русски, так как говорить на других языках запрещено. Во вторник 15 января в походной церкви, в лагере была отслужена Обедня протоиереем о. Валентином Ивашевичем, и было много причастников.

С окончанием лагеря, однако, не оканчивается воспитательная работа ОРЮР, так как начиная с первой субботы в апреле с. г., как и всегда, в Буэнос Айресе начинается очередной учебный год Русской школы и Гимназии ОРЮР. Работа с детьми ведется круглый год, а летний лагерь является лишь венцом этой работы.

В заключение, хочу отметить одну деталь: все дети перед концом лагеря больше всего говорят о том, что через год снова поедут, если даст Бог, в лагерь.

Н. Н.

Валентин Зарубин

Сепаратизм-шовинизм

В Мюнхене вышел № 9 журнальчика "Форум", который, главным образом, занимается сепаратизмом и русофобией, но, как ни странно, не издается на украинской "мове", а выходит по-русски. Нет никакой необходимости особо останавливаться на содержании этого печатного органа, но хочется отметить большую статью Михайло Михайлова, бывшего доцента захудалого провинциального югославского университета, который жалуется, что В. Максимов его исключил из обширной, разношерстной редакционной коллегии "Континента". Бывший доцент, русского происхождения, по сей день проживающий на Западе с действительным югославским паспортом, наломал столько дров со своими социалистическими идеями и нападками на А. И. Солженицына, что его недобровольный уход из "Континента" никто не станет оплакивать.

Примечательна и другая статейка — "Русские националисты" Элизабеты Маркштайн, австрийской славистки и переводчицы, впервые опубликованная в журнале "Остэуропа". Маркштайн тенденциозно излагает сущность русского национализма, желая показать русские национальные силы в отрицательном свете.

Валентин Зарубин

По страницам советской печати

"МОЖНО БЫЛО БЕЗ ТАКИХ ПОТЕРЬ"

После выхода на железную дорогу у Тарту нас сменили, и мы остановились на отдых. Приехал генерал из армии вручать награды. Прикрепляя орден, он смотрел каждому в глаза. Взгляд его молочно-голубоватых глаз выдержать было трудно. Я еле удержался, чтобы не подмигнуть ему. Потом угощали водкой с бутербродами. Мы стояли вдоль длинного стола. Генерал шел и чокался с каждым. Перед Волковым он задержался. Внешность Волкова останавливала начальников. Проверяющие, инструктора, корреспонденты обращались к нему. В нем виделся им то ли разжалованный полковник, то ли случайно мобилизованный директор, во всяком случае, что-то значительное, не соответствующее званию лейтенанта. Генерал заговорил с ним. Волков отделивался односложными ответами, хмуро, зло, кроме того, он не выпил. Генерал не привык к такому невниманию, не помню уж, как и чем поддел он Волкова, заставил разговаривать о нашей операции, за которую мы получили награды. Волков сказал, что форсировать реку и выйти к железной дороге можно было без таких потерь. Генерал что-то возразил, но Волков зачеканил, не давая себя прервать. Голос его медно звенел. В этом наступлении полегла вся вторая рота вместе с Семеном Левашевым, но все равно Волков не имел право так вести себя и портить праздник. Начальство еще не успело ничего сказать, мы сами навалились на Волкова, поскольку ясно нам вперед рвать надо, а не потери считать, с фашистами надо драться, а не на наших штабников нападать. Нам казалось, что он принижает наш подвиг, развенчивает его в глазах начальства, которое так хорошо отозвалось о наших действиях. Не наше дело думать о потерях, наше дело выполнять приказ. Мы разошлись на него, и он Бог знает что наговорил — что мы заработали ордена на трупах. На следующий день нас вызывали по очереди, расспрашивали, и мы не щадили Волкова — и за прошлые разговоры и за этот... Волкова наказали, и его дальнейшую участь заволкло клубами пыли наших танков и самоходок, идущих на Запад...

"КОЩУНСТВО"

— Вы с фронтовиками не встречаетесь.

Откуда она могла знать, что я давно перестал бывать на встречах? С тех пор, как хоронили нашего генерала. На гражданской панихиде я услышал, как дали слово Акулову. Он служил у нас в связи. В сорок втором году его за трусость исключили из партии. (?! — Ред.) Он принялся писать на всех клеветы. Еле избежал от него. Появился он через несколько лет после войны и стал всюду выступать с фронтовыми воспоминаниями. Генерал наш негодовал, но помешать Акулову не мог. И вот он теперь встал у гроба и поднял руку. Я громко сказал: нельзя Акулову слово давать, это кощунство! Произошло замешательство. Но Акулов нашелся: ах, говорит, наш друг хватил с горя, ревновать начинает всех к генералу, меня ревнует, и не мудрено, потому что наш генерал любил каждого из своих офицеров, так любил, что... И пошел и покотил о том, какие мы были герои под водительством нашего командира, как мы освобождали, громили, какое чистое и честное было время, и вот ушел тот, для кого мы были не ветераны, а солдаты, он знал дни и ночи наших боев, а для других это были всего лишь даты... Кругом меня всхлипывали, сморкались. Ничего не скажешь, красиво говорил этот сукин сын. Но после этого я перестал ходить на встречи.

(По пьесте Даниила Гранина "Еще заметен след". "Новый мир", январь 1984).

Г. ЛОБОВ

О МЕЛОЧАХ — И НЕ О МЕЛОЧАХ

Об опечатках. В петербургской газете "Речь", в корреспонденцию о коронации английского короля Георга Пятого вкралась опечатка: "его королевское величество возложил на голову короВу и удалился". На следующий день последовало исправление — "возложил Ворону". Газету оштрафовали и заставили извиниться. В конце статьи, излагавшей причины недоразумения и сообщения о том, что виновные в недосмотре понесли наказание, было сказано, что следует читать "его королевское величество возложил на голову корону и удалился". Газету закрыли на полгода, но дипломатического скандала избежать не удалось.

А теперь, относительно фельетонов. Изю всех жанров газетного творчества, это самый трудный; гениальных очеркистов или передовиков, или обозревателей, в десять раз больше, чем способных фельетонистов. И почему-то, в особенности у нас — русских. И не только фельетонистов, но и юмористов. В России они были наперечет: Аверченко, Тэффи, Зоценко. За границей (если не считать тех же Аверченко и Тэффи) ни одного. Дон Аминадо (Шполянский) и Аргус (Ейзенштадт), это не юмористы, ни фельетонисты, а шутильники и острильники.

Бывают, как в советской печати, так и в эмигрантской, смешные фельетоны или рассказы, но настоящих рассказчиков и фельетонистов, повторов, нет. Константинына Евгеньевича Аренсбургера ("К. Аренский"), если и не приравниваю к нашим знаменитостям, то все же выделяю изю всех известных мне современных фельетонистов.

Г. ЛОБОВ